

ликинская

Ю. Нечипоренко

СОКРОВИЩНИЦА

Сборник рассказов о хранителях языка



Е. Каликинская, Ю. Нечипоренко

СОКРОВИЩНИЦА

Сборник рассказов о хранителях языка

году русской литературы посвящается



Москва
2015



Екатерина Каликинская

ЖЕМЧУЖИНЫ КИПАРИСОВОГО ЛАРЦА

Письма об Иннокентии Анненском

Николай Дмитриев, бывший ученик Николаевской Императорской мужской гимназии в Царском Селе – Николаю Сверчкову, гимназисту 7 класса Николаевской Императорской мужской гимназии

7 сентября 1907 года

Бесценный друг мой Коля!

Ты, конечно, помнишь, что мы договорились писать друг другу только о самом главном и значительном. Никаких приветов от тёти Зины и сведений о погоде!

Для меня это тем более важно, что я волею судеб погружен в скуку провинциальной жизни и оторван от блестящих и шумных, порой утомительных, но право же – и упоительных! – забот столицы. Прошло уже больше четырех лет, как я покинул стены дорогой нашей alma mater из-за несносного перевода папеньки в другую воинскую часть. И все же по-прежнему мне трудно поверить, что я не в Царском Селе. Когда я не открыл утром глаза и слышу сквозь сон звук полкового горна, возгласы командиров, шелест листвы – кажется, что я ещё

в родном нашем, особенном городке. Вот-вот вскочу, увижу в окне волнующиеся под ветром кроны деревьев и свинцовый блеск воды в канале, а у подъезда дома напротив – извозчика, понукающего бывшую гусарскую лошадь, отслужившую свой век на парадах, но вполне годную для подвоза барышень и их почтенных мамаш с Царскосельского вокзала. И затем, после спартанского туалета и плотного по настоянию маменьки завтрака, отправлюсь в гимназию. Теперь с нежностью вспоминаю я и колючую гимназическую шинель, и пронизывающий ветер на перекрестке Малой и Набережной улиц, и дорогое сердцу жёлтое каменное здание с возвышающимся над ним куполом гимназической церкви. Представляю мысленно, как по дороге расшаркаюсь со старой фрейлиной Оболенской, подругой бабушки, в салопе прошлого века гуляющей со своим мопсом по аллеям дворцового парка, поприветствую Арефу – слугу директора, спешащего за покупками в Гостиный двор, пошлю страстный взгляд хорошенькой зардевшейся барышне, опаздывающей на занятия в Мариинскую гимназию...

И наконец переступаю порог alma mater. Вдохну запах мастики, мела, сукна, кисловатых чернил. Постою, оглушённый звонкими воплями приготовишек, шмелиным гудением басков гимназистов старших классов, рассыпчатой трелью звонка, оповещающего о начале урока. Ловлю неодобрительный взгляд швейцара в расшитой ливрее, недовольного моим опозданием и мокрыми следами на полу, которые оставили мои новенькие, блестящие, совсем как у старшего брата, сапоги.

И вдруг, словно с разбега над обрывом, останавливаюсь. Ведь я уже не в Царском, а в «стране далече», учусь в паршивой провинциальной гимназии городка, название которого и выговорить тошно. За окном в жирной луже разлеглось целое семейство свиней, на улице у колодца судачат о грибах и рыбе...

Увижу ли я когда-нибудь тебя, друг мой, душа моя, мой Кастор? И нашу гимназию, и несравненного брата твоего, «Колю большого», стихи которого о конквистадорах, выписанные в особую тетрадь, всегда тайно лежат у меня под подушкой?

Положа руку на сердце, не могу поверить тому, что ты пишешь о гимназии после ухода из неё нашего «олимпийского директора». Неужели математику теперь ведёт не Марьян Генрихович? А французский – не «златокудрая и волоокая» мадемуазель? А уважаемые второгодники, по-гусарски распивавшие водку под партами, исключены без всяких оправданий? И парты теперь стоят чистые и голые, без вырезанных сердец со стрелами и проклятий на латыни?

И самое главное – уже не осеняет пыльный и зашарканный гимназический коридор своим присутствием высокая сухопарая фигура Иннокентия

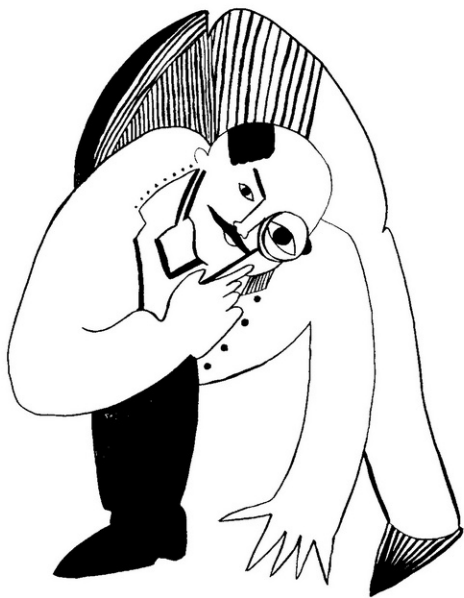
Федоровича Анненского в безупречном, шитом золотом вицмундире и высоком крахмальном воротничке, шествующая словно в незримой когорте героев «Илиады» и «Одиссеи». Я так и вижу, как он идет по коридору, лишь изредка бросая со своей высоты на гимназистов темный печальный взгляд из-за стекол пенсне. Еще труднее представить, что древнегреческий уже больше не преподается в гимназии... Конечно, было не так-то легко и совсем не весело путаться в бесконечных его склонениях, но согласись, сознание, что ты говоришь словами какого-нибудь Телемаха или олимпийских богов придавало реальности ощущение неизъяснимое!

Впрочем, Анненский сам остроумно признавался, что «первый бежал бы не только от общества персонажей еврипидовской трагедии, но и от гостеприимного стола Архелая и его увенчанных розами собеседников с самим Еврипидом во главе».

Но в ту минуту, когда этот человек, знающей, по слухам, тринадцать языков и перелопативший на язык диких славян всего Еврипида, задавал тебе вопрос, ему самому казавшийся легким, а тебе – совершенно непроходимым, ты его, конечно, проклинал потихоньку. А теперь отзвуки тех занятий похожи на голоса труб какого-то легендарного воинства.

162 Хорошо, что мне не пришлось видеть этих чистых, выбеленных и блещущих стеклами классных комнат, этих омерзительных ёлочек в вазонах, которые наставил повсюду новый директор, этих чучел, гербариев и масок, которые, верно, ухмыляются, глядя на вас, несчастных, из-за своих витрин. Ты так прекрасно живописал нового директора, этого отнюдь не шиллеровского Мора! Я так и вижу, как он, маленький и вёрткий, деловито сует по коридорам, внимательно глядя себе под ноги, словно надеясь найти там бумажку с любовными стихами или обрывок прокламации. Хорошо, что не мне пришлось стоять по стенке, расшаркиваясь при его приближении, что не меня он стыдил за неряшливый вид перед всем классом, не на меня пищал: «И это есть ученик Императорской Николаевской Царской Гимназии!»

Право слово, всё это ужасная чушь и дичь. Не верится, что такое может быть! И вдвойне невероятно это в стенах свободолобивой Николаевской царскосельской гимназии. Ведь в иные времена директор никогда не обращал внимания на такие мелочи, как мятая гимназическая фуражка или неуставной воротник на форменной куртке, руки с нечистыми ногтями, запах сигарет в классе или синяк под глазом у гимназиста. Нет, будучи сам всегда внешне безупречным и невозмутимым, этот друг Еврипида и собеседник Силена элегантно открывал вальсом гимназические балы, ставил на школьной



сцене трагедии Шекспира и античные драмы. Помню, как он, не теряя своего достоинства, учил начинающих актеров из числа наших однокашников наносить грим и произносить реплики. И недаром, несмотря на его всегдашнюю отстраненность, за ним ходили толпы обожателей, желавших удостоиться от него хоть одного одобрительного слова. А другие завистливо наблюдали за ними, не имея чем выделиться.

И теперь он уже не директор?! Не могу себе представить его каким-то инспектором Петербургского учебного округа, трясущимся в поездах и на извозчике в служебных командировках, требующим от провинциальных гимназий того порядка, которого он сам никогда не умел навести.

Неужели причина всего этого события 1905 года? А начиналось все так славно, таким упоением: протест против действий правительства, гимназисты, баррикадирующие двери шкапами, взрывающиеся на уроках электрические лампочки... И, конечно, «химическая обструкция» с клубами вонючего тумана в коридорах! Здорово мы тогда попугали преподавателей и начальство. Впервые я видел нашего несравненного Анненского – растерянным, озадаченным, смущенным. Он почему-то держал у подбородка белоснежный носовой платок, словно хотел отгородиться им от окружающего хаоса.

Но все же не мог он не знать, не чувствовать, что несмотря на все свои безобразия, на вой и стук ногами – мы любим, нет, просто обожаем его, ведь он совершенно не способен никого ограничивать и стеснять, а может быть – я всегда подозревал это – и сочувствует нам!

Я растерян, сражен, разбит, мой друг. Думаю, ты вполне разделяешь мои чувства.

12 сентября 1907 года

Милый Коля!

Прости, что нарушаю наш договор и пишу тебе раньше, чем получил от тебя ответ. Я совсем оставил рекомендованные тобой упражнения по тренировке воли.

Но тут случай особый. Я снова и снова возвращаюсь мыслями к Анненскому.

Утешает меня только надежда, что на новом посту его меньше тяготят ежедневные обязанности, что часть жизни он проводит в пути и, быть может, больше времени сумеет уделять творчеству: дорога и творчество как-то непостижимо связаны. Прости, что пишу высоким слогом, но ты ведь знаешь: я тоже не чужд музы. Теперь, когда «Коля большой» – поэт состоявшийся, у которого уже вышел

первый сборник, когда ты занят литературной работой в его рукописном журнале «Остров», ты сможешь лучше меня понять. Ты, самый волевой, загадочный и решительный из известных мне гимназистов, и с музой найдешь общий язык!

Но шутки в сторону. Мы с тобой были из тех, кто знали: в засиженной мухами книжной лавке Митрофанова в Гостином дворе лежат томик стихов нашего директора. Конечно, это Коля Гумилев сказал тебе, а ты – мне. Но какая разница! Америка существовала и до того, как Колумб ее открыл. Стихи были названы так скромно и неброско: «Тихие песни», а фамилия автора была еще скромнее: Ник. Т-о. То есть никто, нуль без палочки. Скажи, есть ли на свете другой такой директор, который был способен на такое смирение, почти самоуничтожение? И в то же время уничтожение паче гордости: те из нас, кто читал «Илиаду» не только на уроке, конечно, помнят диалог Одиссея с циклопом Полифемом:

Славное имя мое ты, циклон, любопытствовал съедать
С тем, чтоб меня угостить и обычный мне сделать подарок?
Я называюсь Никто: мне такое название дали
Мать и отец, и товарищи так все меня величают.

Понимаешь, куда метил тайно воспаривший в выси директор?!

Одиссей – тот, кто проходит все ловушки и преграды, тот, из-за кого ссорятся боги и нимфы, полубожественный вечный странник и прославленный древнегреческий герой со всеми недостатками человека. А мы, конечно, все Полифемы – видели его лишь одним глазом!

Друг мой Коля, ты не пишешь стихов, тебя не спутать с «Колей большим», с которым тебя объединяет любовь к теннису, морским свинкам, попугаям, экзотическим странам и холодным купаниям. Но поверь: только Полифемы удовлетвориться знаком равенства между Одиссеем и Никто, между Анненским и непризнанным поэтом!

Я был одним из первых, кто оценил «Тихие песни».

Это случилось, когда еще мальчиком, только начавшим осознавать печаль, которой не избыть за всю жизнь, я прочел эти строки:

Когда на бесконечное дожде
Рассыплются бредя цветы,
Какая отвага, о Боже,
Какие победы мечты!..
Откинув докучную маску,
Не чувствую уз бытия.

С упоением повторял я тогда эти стихи. И, как заря небывалого пожара, в памяти вставали другие:

Девиз Таинственной похож
На опрокинутое восемь:
Она — отраднейшая ложь
Из всех, что мы в сознание поем.
В кругу эмалевых минут
Её свершаются обеты,
А в сумрак звездами блеснут
Пль ветром полнотчи пронеты.

Мне казалось, что такое мог написать только очень юный, как я, и разочарованный в жизни, в её серых обязанностях, но и пленённый, как я, каждым оттенком облаков в проталинах яркого неба, каждой линией летящих листьев, каждым шорохом, запахом, вкусом... Со странным чувством следил я тогда в коридорах и на уроках за директорской головой с благородными сединами, с долгим крутым лбом – неужели все эти слова родились в ней? Какое сердце билось в такт этим мыслям, какие юношеские мечты прятали эти тёмные глаза за стеклами пенсне?

166

Лишь цолога почти немой
Порой отразит колыханье
Мое и другое дыханье,
Бой сердца и мой и не мой.
И в мутном круженье годни
Все чаще вопрос меня мучит:
Когда наконец нас разлучат,
Каким же я буду один?

Я тоже так чувствовал. Однажды меня осенила парадоксальная вещь: «другой» Анненского – это, наверное, я. И лишь потом я понял – как и любой его читатель.

Его читатели... Неужели их так чудовищно мало, как ты мне пишешь?! Некоторые из наших считали, что изящно-строгий, блестяще остроумный критик журнала «Аполлон» И. Ф. Анненский, переводчик Еврипида, поэт Ник.Т-о и директор царскосельской гимназии – четыре разных человека,



что мы имеем дело с какой-то чудовищной мистификацией. Разве может один человек вместить в себя так много? И многие пытались судить эту личность одним циклопическим глазом (если не вообще и не всегда каждый из нас так видит другого.)

Но поверь моему вкусу и чутью, Коля: он поэт и прежде всего поэт! Мало читателей сейчас – значит, толпы их ждут его в будущем.

1 марта 1908 года

Дорогой, великолепный мой друг Коля!

Сердечно благодарю тебя за известие, что Анненский пишет новую большую вещь, драму о Фамире-кифарэде, герое древнегреческих преданий. Какое счастье, что твой дядя-брат «Коля большой» смог подружиться с Валентином Анненским и тот иногда дает ему почитать стихи отца!

Мне кажется, это будет что-то потрясающее. Постарайся достать хотя бы несколько страниц этого текста. Признаюсь, что разговор Валентина Анненского с Николаем Гумилевым представляется мне чем-то вроде беседы Прометея с Гермесом о намерениях Зевса. Ведь «Коля большой» сам всегда казался мне таким взрослым и мужественным: со своими короткими усиками, со стеклом, похлопывающим по щегольским сапогам для верховой езды, со своим странным лицом и чуть косым взглядом, который придавал ему еще большую загадочность! А его стихи о королях и русалках, об экзотических лесах и храмах чудовищным богам, об уходящих в ночь пиратским кораблях так живо волновали мое мальчишеское сердце. Но прости, теперь я бы отдал пальму первенства И. Ф. А. как поэту. Не говоря уже о том, что, видимо, его влиянием, эманацией его духа, невидимым присутствием его музы можно объяснить такое количество молодых поэтов в стенах нашей гимназии! Коля Гумилев – поэт, Дима Крачковский – поэт, пять братьев Оцупов – тоже поэты (впрочем, кажется, стихи пишут всего двое), сын учителя закона Божиего – Сева Рождественский – и тот беседует с Музой! Да и я сам, грешным делом, надеюсь сказать свое слово, хотя пока не решаюсь обнародовать свои опыты. Знаешь об этом только ты. Но, милый друг Коля, прошу тебя верить в меня, как ты веришь в своего брата! И не обращай ни малейшего внимания на Алешку Толстого, который говорит, что стихи Гумилева понимают только его попугай и Коля Сверчков. Ты прав, Коля Гумилев еще проявит себя. А я? Не уверен. И стоит ли? Смогу ли я хоть на шаг приблизиться...

Вчера перечитал «Тихие песни». Каждому из нас знакомо это чувство бесконечности, раздвигающей театральные рамки жизни, эта тоска по утраченному идеалу чего-то неназываемого, этот ужас конечности собственного существования. Мы впервые осознаем это на пороге жизни, но не расстаемся с такими ощущениями и перед самым концом:

Кружатся нежные леты
И не хотят коснуться праха,
О, неужели это ты,
Все то же наше чувство страха?
Нль над обманом бытия
Творца веленье не звучало,
И нет конца и нет начала
Тебе, тоскующее я?

Смогу ли когда-нибудь написать хоть одно такое стихотворение?
Прощай.

10 декабря 1909 года

Милый друг Коля, твое письмо оглушило меня! Я просто не могу поверить, что Анненского теперь нет с нами... Кажется, он просто удалился на свои Олимпы, хотя, по слухам, был человеком вполне православным, и воскресная обедня в гимназической церкви была для него не просто служебным обрядом. Я теперь чаще захожу в церковь – помолиться о нем.

И все же не могу еще осознать: Иннокентия Федоровича – нет?! Невозможно, как смерть Зевса или Аполлона.

Конечно, его переход из гимназии на новый пост, чувство сломанной карьеры, частые разъезды в любую погоду по дальним уголкам губернии могли сильно поколебать его и без того хрупкое здоровье. Помню легкий запах сердечных капель, который всегда витал в его кабинете, заглушенный запахом цветов: осенью – жирных астр и ярких лохматых хризантем, зимой – бледных роз из оранжереи, весной – переплескивающей через край вазы сирени густо-лилового цвета, пестрых тюльпанов или стоящих в простой глиняной кружке прохладных ландышей. Но всё же никто не ожидал ухода его из гимназии! И этой нелепой смерти на вокзале – он словно пересел из поезда Жизни в поезд Смерти.

Теперь, когда зашкаливший сердечный приступ оборвал его жизнь этого незаурядного педагога, этого лучшего из директоров лучшей из гимназий, я уповаю на то, что он осознавал наше истинное отношение к нему. И проклинаю себя: почему я никогда не сказал, не написал ему, не выразил хотя бы словом и взглядом... Но как я мог? Гимназист-шестиклассник – директору! Наверное, так думали и остальные, когда проявляли легкомысленную жестокость с этими забастовками и провокациями, со стуком ногами и выкриками на собраниях. Но при этом ведь все обожали его, обожали! Словно теплое облако, наше восхищение, почитание, любовь осеняли его.

Человек с таким тонким чувствительным сердцем, струны которого были натянуты, как струны Золовой арфы – не мог этого не осознавать. Ведь он предвидел и описал даже собственную смерть:

В недоумении открыл я мертвеца,
Сказать, что это я, весь этот ужас тела,
Иль Тайна бытия уж паселить учела
Приют покинутый вею чуждого лица?

Анненский как будто видел не только смерть, но и то, что за смертью:

Но где светил погасших лик
Остановил для нас течение,
Там Бесконечность – только миг,
Дробимый молнией мученья.

16 марта 1910 года

Бесценный мой Николай, бесконечно благодарю тебя за стихи Анненского из «Кипарисового ларца». Уверен, начнется настоящая сенсация после выхода из печати этого сборника, который «Коле большому» посчастливилось читать в корректуре. К великой моей радости и благодарности, ты прислал мне отрывки в N-ск.

Какое счастье, что был у него такой ларец!

Ты пишешь, что Валентин Иннокентьевич Анненский рассказывал у Гумилевых: ларец из потемневшего кипарисового дерева, куда он бережно

складывал листки с тщательно выписанными его узким изящным почерком стихотворениями, действительно хранился у директора. А потом ларец был вручен любящему сыну за несколько дней до смерти поэта. Поистине, это не худшая судьба рукописей! Но знал ли он сам о том, как дороги будут многим читателям, как бесконечно богаты, как переменчивы, словно небо, его стихи? Меня всё гложет это имечко «Никто». Мог ли он сам так о себе думать? Слившись с дыханием ветра, улавливая оттенки цветов и чувств, ощущая даже «обиду куклы обиды своей жальчей», находя желания и мысли в нарисованной веточке:

Но бумаге спрей
Разметалась ветки,
Слезы были едки,
Бедная тростинка
Милая тростинка,
И чего хлопочет?
Все уверить хочет
Что, изнемогая
(Нольно, дорогая!)
И она идет мая.

И другой набросок рукой непревзойдённого мастера, чье искусство напоминает ныне только входящий в моду в живописи импрессионизм:

Веселый день горит. Среди сомлевших трав
Все маки пятнами — как жадное бесселье,
Как губы, полные соблазна и отрав,
Как алых бабочек развернутые крылья.

Насколько же ясно теперь, что, несмотря на свою кажущуюся отстранённость от жизни. «эфирность», как мы шутили, он глубоко любил её и наслаждался каждым её проявлением:

Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом
Она дает гореть, дает светиться думам.
Тревога, а не мысль растет в холодной мгле,
И холодно цветам почками в хрустале.

Кто еще в русском языке без жеманства, без лишней сентиментальности описал этот «холод хрустала» – холод неизбежности, условностей и внешнего блеска, в который заключена живая человеческая душа – экзотический, нежный, странный цветок?

Думаю, что никто. Анненский открыл новые грани стиха, новые возможности языка, даже новые изгибы мыслей. Хотя теперь мне чудится в его стихах переключки «невозможного» - Тютчева с Шевченко, Баратынского с Блоком, Некрасова с Фетом. Кажется, этому поэту было доступно все: и торжественный александрийский стих, и звонкий стройный ямб, и народное причитанье, и шутовская песня, и чувственная размашистость русского романа:

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только верить в рыдающие звуки.

Ты удивишься, почему в списке поэтов, чья переключка слышится в творчестве Анненского, нет еще одного, «главного» обитателя Царского Села? Может быть, потому, что он боялся мощного влияния Пушкина, может быть, потому, что Пушкин – это солнце, а Анненский – сумерки и ночь перед рассветом?

А куда отнести вот эту завораживающую, закруживающую в потемках интонацию:

Мы на полустанке,
Мы забыты ночью,
Тихой лунной ночью
На лесной полянке,
Бред или воочью
Мы на полустанке
И забыты ночью?

Кажется, его личный Кастальский ключ питали и подземные родники народной поэзии, и греческие водопады, и вся многоветвистая дельта русской литературы.

Но всё же в каждом стихотворении Иннокентия Федоровича – свой неповторимый голос, голос Анненского, который напоследок – то ли ради печального розыгрыша, то ли из-за скромности своей – утверждает:



Недоспелым поле скатом;
И холодный сумрак тих.
Не теперь, давно когда-то
Был загадан этот стих.
Видишь – он уж тает, канув
Из серебряных лучей
В зыби млечные туманов,
Не тоскуй: он был ничей.

Нет, это великий поэт, и прости, Коля Гумилев со своими принцами и русалками, с кольцами Люцифера, с девой Света и девой Земли, с придуманными пропастями и безднами кажется мне мальчиком, забравшимся за кулисы втайне от взрослых поиграть с театральным реквизитом.

30 ноября 1910 года

Дорогой Николай!

Видю, что ты обиделся на мою оценку поэзии Гумилева, и ты, наверное, прав. Гневное письмо о твоём выдающемся дяде, который дороже тебе всех братьев и друзей на свете, заставило меня устыдиться моих резких слов. Прости меня и забудем эту нелепую ссору. Да кто я такой, чтобы судить его? Возможно, «Коля-большой» со временем станет настоящим поэтом. Но если и так, то согласишься, что немалая заслуга в этом будет принадлежать столь безвременно ушедшему от нас, столь нецененному нашему директору – поэту великому. И незаурядному педагогу, который смог свой дар так незаметно, так необъяснимо воплотить не только в поэтические строки, но и в атмосферу гимназии. Ведь нас окружало какое-то особое духовное поле, не случайно все поголовно писали стихи.

Сегодня годовщина его смерти, и я всё время вспоминаю Иннокентия Федоровича, его торжественную, невозмутимую походку, его глуховатый, но такой значительный голос, его печальный и чуть застенчивый взгляд сквозь пенсне.

Я вижу, как его длинная благородная голова с седеющими на висках волосами склоняется над ярко зеленеющим сукном на столе, облитом светом бронзовой лампы. Хорошо помню его кабинет, хотя меня вызывали туда всего один раз за какую-то забывшуюся провинность. И гладко поблескивающие панели красноватого оттенка, и золотисто выступающие из полутьмы переплеты книг, и белые бюстики античных богов и героев на полках. Теперь мне

кажется, что весь этот кабинет был похож на огромный кипарисовый ларец, где незримо рождались и тайно вызревали жемчужины его мыслей и чувств. А возможно, в этом ларце росли и другие жемчуга – души наших однокашников, опаленные дыханием истинной поэзии, которая присутствовала во всём, что он писал, говорил, делал...

Вернусь, однако к прозе жизни. Ты пишешь, что Коля Гумилев ухаживает за Аней Горенко и все стихи теперь посвящает ей. Не стоящее дело, мой друг. Аня Горенко, конечно, прекрасная девица, но что она понимает в поэзии? А жиниться истинному поэту вредно, жизненный опыт это однозначно доказывает. Впрочем, ты пишешь, что избранница Коли плакала над корректурой «Кипарисового ларца». Наверное, у нее доброе сердце!

Одно воспоминание преследует меня: Аня Горенко однажды приходила в гимназию к Иннокентию Федоровичу, и сквозь открытую дверь, пронесаясь по коридору в погоне за кем-то из одноклассников, я увидел, как она сидит на диване и о чем-то взволнованно спрашивает директора. Ее грациозная шея над белым воротничком форменного платья, округлый подбородок, розоватые щеки и бледно мерцающий лоб как-то теперь связались у меня с этими жемчужинами, жемчужинами кипарисового ларца...

Но скорее всего, это чушь и гиль.

Мы всегда приписываем женщинам достоинства, которых у них нет. Брат Валечки Тюльпановой говорил мне по секрету, что Аня безумно и безответно влюблена в какого-то молодого князя, кавалергарда или гусара. Дай Бог, чтобы она теперь оценила Колю.

А что же я, спросишь ты, мой друг? Где мои стихи, сонеты, наброски поэм и пьес? Все то, что я обещал тебе прислать до нашей ссоры? Боюсь, мне придется разочаровать тебя. Вчсра я сжег все свои опыты. Я совершенно разочаровался в них, перечитывая «Кипарисовый ларец», который ты мне любезно прислал в наше захолустье. Никогда, никогда мне не достичь той высоты поэтической, на которую вознесся Анненский – этот непризнанный, неузнанный гений. Он сам был тем Фамирой-кифарэдом, разрывающимся между кифарой и свирелью, который скитался по миру, как чужой. Недаром в имени этого древнегреческого героя дважды повторяются его инициалы: И.Ф.А.

А сломанная кифара, в которую бросают монетки слепому певцу – разве не символ жизни этого, да и любого другого поэта? На такие подвиги я, мой друг, не способен! Да и таланта у меня, увы, маловато. Возможно, я мог бы стать со временем литературным критиком, как И.Ф., но осилить всего Еврипида и написать хоть одну строчку, равную Анненскому, я не смогу.

И тебе советую даже не браться за это дело. Коля Гумилев собирается в Абиссинию – поезжай с ним. Экспедиция – дело стоящее, глядишь, и прославишься.

А мне остается только повторять вслед за тем, кто всегда будет для меня «среди миров, в мерцании светил» звездой – единственной:

Если слово за словом, что цвет
Упадет, бедея тревожно
Не печальных меж навшимц пет,
Но люблю я одно – невозможно.

ПРИМЕЧАНИЯ

Коля Сверчков – сын сводной сестры Николая Гумилева, Александры Степановны Сверчковой (в девичестве Гумилевой), племянник поэта, которого в семье звали «Коля маленький». В 1912 году закончил Николаевскую царскосельскую гимназию, в 1913 г. отправился в экспедицию в Африку с Гумилевым, который писал о нем, что он прекрасный спутник. Коля Сверчков оставил путевые заметки об экспедиции, к сожалению, бесследно исчезнувшие. С началом Первой мировой войны, будучи студентом, он вместе с Николаем Гумилевым отправился добровольцем на фронт, получил 8 орденов, был отравлен ядовитыми газами и после отравления заболел туберкулезом. После революции заведовал краеведческим музеем в Бежецке, рядом с имением Гумилевых. Умер в возрасте 25 лет от воспаления легких. (Коля Дмитриев – литературный персонаж)

Еврипид – великий древнегреческий драматург, один из первых трех авторов, сформировавших основы трагедии; написал около 90 пьес, до наших дней дошли 17 трагедий и одна драма

Архелай, Телемах – герои древнегреческого эпоса, персонажи «Илиады» Гомера
Силван – у древних греков бог леса

Бастальский ключ – родник на горе Парнас, который был посвящен богу Аполлону и по представлениям древних греков давал вдохновение поэтам, художникам и музыкантам

Лия Горенко – будущая Анна Ахматова (девичья фамилия Горенко)

Екатерина Игоревна Каликинская, Юрий Дмитриевич Нечипоренко
Сокровищница. Сборник рассказов о хранительях языка

Редактор: Екатерина Четыжова

Корректор: Жанна Борисова

Художники: Мария Бойнова, Мария Дубровина, Ирина Бринкус, Василий Кармазин,
Евгений Подколзин.

Макет и верстка: Мария Дубровина

Обложка: Мария Дубровина, Софья Каем

Авторская Академия

2015

заказы по электронному адресу: smirnova-ov@yandex.ru

Подписано в печать 07.10.15.

Формат: 70×100/16. Бумага офсетная.

Гарнитуры: LeksansPro, BzPantofina, Nigma!

Печать офсетная. Объем: усл.печ.л.12

Тираж 2000 экз. заказ № 49

Отпечатано в ООО издательско-полиграфическая компания «ВИАДУК»

Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова д. 7А